

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

**СОЦИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ В РАЗЛИЧНЫХ
НОРМАТИВНО-СЕМИОТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ**

Sozialer Konflikt in verschiedenen normativ-semiotischen
Systemen



КАЗАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

2012

2.2. Образ врага в территориальных конфликтах: методологические аспекты (А.И. Макаров)

Темы территориального конфликта и образа врага довольно хорошо освещены в современной конфликтологической литературе. Вместе с тем необходимо продолжать поиски новых научных подходов в целях адекватного понимания этих изменчивых и опасных реалий. Обратимся к философской рефлексии этих феноменов, методологической стороне конфликтологического анализа. Особая ценность философского способа рефлексии в том, что он позволяет поставить вопрос об онтологическом статусе конфликта, без ответа на который нельзя осуществить полноценный системный анализ. При этом важно, чтобы философский анализ не оказался оторван от эмпирики и прагматики. Ведь именно вокруг прагматической задачи урегулирования конфликтов вращается сегодня вся проблематика конфликтологии. Однако прагматике конфликта должна предшествовать феноменология конфликта. Общее для конфликтологов-юристов и конфликтологов-политологов убеждение, что конфликт есть столкновение интересов, только указывает на некоторую особую онтологическую сферу, проскальзывая мимо нее. Тогда как именно в ней, считает украинский феноменолог А.Т. Ишмуратов, нужно искать определение конфликта как специфического феномена. «После этой смутной метафоры (столкновение интересов. – А.М) обычно переходят сразу к обсуждению полезности или вредности конфликта как некоего еще не определенного «икса», и, например, *социология конфликта* как прагматика конфликта должна основываться на уточненном представлении о *социальном конфликте как феномене*»¹. В этом исследовании рассматривается образ врага в территориальном конфликте с точки зрения философской антропологии в ее феноменологической интерпретации.

Совершая традиционный экскурс в историю философии, конфликтологи обычно ссылаются на Гераклита, который в своем диалектическом учении о Логосе высказал идею о космическом всеприсутствии распри. Борьба пронизывает не только антропный слой реальности, но и весь космос. Бытие человека и социума принципиаль-

¹ *Ишмуратов А.Т.* Феноменология конфликта // Феноменология и гуманитарное знание, 1998. С. 66.

но конфликтно. Онтологическая укорененность распри делает ее опасной, а при утрате меры губительной, но функционально необходимой для поддержания космического порядка: подобно взаимоотношениям тетивы и лука, конфликтующие стороны нужны друг другу для осуществления общей цели – поддержания динамики жизни (например, в современных теориях высказывается мысль об адаптогенной функции конфликта). С этими тезисами Гераклита генетически связаны конфликтологические концепции ценностной амбивалентности любой конфликтной ситуации: единство положительного и отрицательного момента конфликта. Линию на признание принципиальной конфликтности человеческого бытия развивали в европейской философии такие мыслители, как Бл. Августин, Т. Гоббс, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, К. Лоренц, Б. Поршнев. Интересна идея о продуктивности конфликта для жизни языка и культуры, на которой П. Рикер строит концепцию «конфликта интерпретаций»¹. Сходные идеи встречаем и у отечественного мыслителя Ю.М. Лотмана².

Развитие конфликтологии в XX в. двигалось в основном в направлении эмпирических социологических, политологических и психологических исследований³. Поэтому содержание категорий этой науки наполнено в основном юридическим и психологическим содержанием. С этими же дисциплинами связывают и поиски способов и средств нейтрализации социальных и личностных конфликтов. Вместе с тем для системного анализа социального конфликта можно и нужно обратиться к философии культуры и социальной антропологии как к наукам, накопившим большой объяснительный потенциал социально-культурных явлений.

Феномен территориального конфликта в данном исследовании рассматривается с феноменологической точки зрения. Феномен – это явление, которое, с одной стороны, существует объективно, а с другой – его существование детерминировано концептуальной схемой сознания (психология говорит о паттернах психики). Другими словами, языковой концепт конфликта позволяет его различить, идентифицировать как ту или иную форму конфликта. Без концептуально-когнитивной

¹ Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике: пер. с фр. и вступит. ст. И. Вдовиной. М., 2002.

² Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М., 1992. С. 12–43.

³ Особняком стоит историческая наука, которая имеет дело с таким количеством конфликтогенных ситуаций, что они выступают для нее обыденным фоном для ее обширной научной проблематики.

схемы сознания люди не могли бы не только искать выход из конфликта, но даже опознать его. Правда, в таком случае они не смогли бы и развязать его, что не исключает возможности агрессивного взаимодействия. Отличие понятия агрессии от конфликта в том, что агрессия – это неосознанное поведение, а конфликт – осознанное.

Особый интерес представляет конфликт за территорию. Видение геофизического нерасчлененного пространства как отдельной территории, с которой идентифицирует себя личность и общество, опирается на когнитивную схему, генерирующую соответствующие стереотипизированные образы коллективной памяти. При подключении рационального осмысления образы коллективной памяти принимают форму концептов в массовом сознании и понятий и терминов в научно-теоретическом сознании экспертов. Ниже я коснусь истории формирования идеи территории для иллюстрации того, как под воздействием социокультурной динамики трансформируются видение мира и язык его описания.

Предлагаемая к рассмотрению гипотеза разрешения конфликтов состоит в следующем: в человеческом обществе, поддерживающем ценность мирного разрешения территориальных конфликтов, *агрессия* может и должна быть превращена в *территориальный конфликт*, такой конфликт – в *территориальный спор*, территориальный спор – в юридическое и политическое *обсуждение аргументов сторон*, приводящий либо к компромиссному *решению*, либо (будем реалистами!) к замораживанию конфликта. Все эти стадии – агрессии, территориального конфликта, территориального спора, обсуждения аргументов сторон и решение – сопровождается образ врага, меняющийся по мере перехода от стадии к стадии. Образ врага функционально необходим конфликтующим сторонам для работы политического и этического воображения, формирования мотивов поведения. Задачи предлагаемого исследования: прояснить ключевые концепты этой схемы (через наведение между ними понятийных границ) – территориальный конфликт, территориальный спор, дать типологию образов врага и выявить функционально-семантические связи между типами образов Другого-чужого и концептом «наша территория».

Когнитивная оснастка мышления образами Другого-своего и Другого-чужого позволяет производить идентификацию ситуации как конфликтной, проблематизацию и принятие решений. Эти образы – часть общественной и государственной идеологии. Поэтому конфликтология – это не только научная дисциплина, но и система опре-

деленных функциональных концептов, идеология. Что первично, концептуально-когнитивная схема, укорененная в коллективных слоях памяти и психики, или факт конфликтного взаимодействия индивидов, не имеет значения при феноменологическом подходе. Ведь как само понятие феномена означает сущностную неотделимость явления материального мира и образа психики: феномен как бы растягивается между миром интерпретаций, имеющим языковую природу, и миром чувственно воспринимаемых фактов. Имея идеально-материальную природу, феномен стягивает эти миры в сопряженное единство акта сознания. Это – некая *конективная структура*, действующая связующим образом сразу в двух измерениях – индивидуальном и коллективном. Как «символический мир смысла» она связывает человека с его современниками, образуя общее пространство опыта, ожиданий и деятельности, чья связующая и объединяющая сила устанавливает взаимное доверие и возможность ориентации¹.

Идентификация и проблематизация порождают смыслы, исходя из которых субъекты конфликта принимают решения. При этом вся совокупность решений и поведенческих реакций детерминирована смысло-генерирующим воздействием концептов и образов сознания. Концепт территории и образ врага – это нематериальные (или символические) факторы, влияющие на этнотерриториальные конфликты. «Государства продолжают воевать за территории, хотя их процветание и безопасность все менее зависят от территориального фактора», – читаем в современной зарубежной монографии, посвященной рассмотрению территориальных конфликтов в эпоху глобализации². За этой фразой просматривается некоторое удивление тому, что символические факторы довлеют над материальными. Но это факт: с развитием отчужденных форм речи – письма и особенно медиасферы – возникают условия усиления идеологического измерения мироустройства. Сегодня образы приобретают силу оружия, поэтому вполне обоснованно введение в последнее время в научный оборот концептов «информационные войны», «символическое насилие», «смысловая агрессия».

Ситуационный враг и онтологический враг

Начиная разговор об образе врага в аспекте территориальных конфликтов, прежде всего нужно отметить распространенность в

¹ Ассман Я. Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М., 2004. С. 15.

² Territoriality and Conflict in an Era of Globalization: ed. by Miles Kahler and Barbara F. Walter. New York: Cambridge University Press, 2006. P. 288.

языках народов мира слов «друг» и «враг». Это объясняется особенностями филогенеза человека. Когнитивные процедуры распознавания «своего» и «чужого» присущи всем живым существам. Бактерия классифицирует химические компоненты среды на аттрактанты и репеленты и реализует по отношению к ним две стереотипные поведенческие реакции; гуси знают, что «все рыжее, большое и пушистое очень опасно», замечает этолог К. Лоренц¹. Слово «враг» несет ярко выраженную негативную коннотацию. Почему?

Враг – это агрессивный и опасный Другой-чужой. Чужеродность – заведомый источник страха. Страх, согласно информационной теории П.С. Симонова, порождается недостатком информации об объекте. Чем опаснее сосед, тем больше о нем требуется информации для обеспечения безопасности, и наоборот, чем меньше информации, тем больше ощущение исходящей опасности. Правда и любопытство к Другому связано с недостатком информации, но без попадания в зону дискомфорта. Поэтому недостаточность информации о Другом можно сделать как основой враждебности, так и основой исследования. На первый взгляд, может показаться странным соседство исследовательского интереса и враждебности. Страх как негативная эмоция требует преодоления, а процесс преодоления может протекать как в форме изучения, рассматривания, так и в форме уничтожения, вытеснения, репрессирования объекта страха. Яркий пример второму варианту развития процессов изживания страхов приводит К. Леви-Строс в своей знаменитой книге «Печальные тропики». Он нашел вопросник, который предлагали колонистам для того, чтобы выяснить, способны ли индейцы жить собственными трудами, подобно крестьянам Кастилии. Все колонисты ответили отрицательно: «В крайнем случае, может быть... К тому же индейцы столь порочны, что и это сомнительно». Какие приводились доказательства? «Они избегают испанцев, отказываются работать без вознаграждения, а их извращенность доходит до того, что они дарят свое добро, не отвергают своих товарищей, которым испанцы отрезали уши». И в качестве единодушного заключения: «Для индейцев будет лучше стать людьми в рабстве, нежели оставаться животными на свободе»².

Этот пример К. Леви-Строса иллюстрирует функциональную необходимость для колонистов превращения неизвестных и потому

¹ Савельев А. Образ врага. Расология и политическая антропология. URL: <http://savelev.ru/books/content/?b=16>

² Леви-Строс К. Печальные тропики. М., 1984. С. 29–30.

страшных как животные индейцев в рабов, о которых колонисты знают. Образ примитивного человека, подобного животному, – это образ сознания, мотивирующий на мобилизацию индивидов и групп, отвоевывающих (или вынужденных защищать) жизненное пространство. С одной стороны, образ врага необходим для формирования коллективной идентичности, а с другой – он опасен для нее тем, что может вызвать изоляцию от соседей. Поэтому в идеологии образуются типа образов врага: метафизический или ситуационный враг и онтологический.

Ситуационный образ врага отличается слабой устойчивостью при сильной интенсивности воздействия на чувства. Эти две характеристики находятся в обратно-пропорциональном отношении друг к другу: чем выше интенсивности воздействия на чувства, тем кратковременнее пребывание образа врага в общественном сознании. Этот вывод не противоречит мнемотехнической идее о том, что яркие образы запоминаются лучше. Дело здесь в том, что интенсивный образ врага запоминает лучше индивид, из активной памяти коллектива он через некоторое время вытесняется. Об этом писал Ян Вансина. Этот исследователь памяти ввел в научный оборот понятие «дрейфующей лакуны» (the floating gap), указывающее на феномен разрыва уровней исторического сознания: «историческое сознание работает только на двух уровнях: время истока и недавнее прошлое... Люди, входящие в соответствующую общность, часто не осознают этого пробела, но исследователю он бросается в глаза».

«Дрейфующую лакуну» живой народной памяти приходится заполнять элите, формирующей идеологическую доктрину о прошлом: мифологическую для народных масс, научно-историческую для научно-экспертного сообщества и мифо-историческую для политической элиты. Это делается с помощью социальной технологии закрепления образов коллективной памяти на внешних носителях по отношению к психике. Такими носителями являются письменные тексты. Важнейшей составляющей памяти о прошлом является нарратив об опасном Другом-чужом, бывшем и значит потенциальном враге. За счет рециклического обращения текстов в общественном сознании происходит стереотипизация «образа врага», что позволяет по немногим критериям распознавать Другого-своего и врага. Стереотипный образ врага, как любой стереотип, экономит время и энергию на выработку новой информации для психологической и социальной адаптации в меняющемся мире. В этом его объективная ценность. В человеческом сообществе символизация информации о мире позво-

ляет составить иерархическую пирамиду ценностей, связанную не только с индивидуальным выживанием, но и с социумом в целом. Именно поэтому у людей стереотипизация врага, формирование его образа приводят не только к выделению разного рода этнических статусов (по внешнему облику, образу поведения и т.п.), но и к обозначению врага через определенный тезаурус, применяемый им в полемике по поводу конфликтных для данного общества вопросах.

Закрепление средствами письма и идеологии образа врага переводит этот образ из ситуативного в *онтологического врага*, который предполагает теоретическую рефлексию. Он формируется интеллектуальной элитой как элемент идеологии для мобилизационных целей.

В конфликте происходит расчеловечивание противника. Метафизический враг – это частный случай расчеловечивания за счет операций абстрагирования (у интеллектуалов) или демонизации, гипертрофирования негативных черт конкретных образов чужого в индивидуальном сознании масс. Для этого используются сравнения противника с различными злыми силами (например, дьяволом, демонами, оборотнями, волколаками и т.п.), животными, вызывающими отвращение (например, крысами, шакалами, гиенами, стервятниками, гадами и т.п.).

Рассмотрим культурно-исторические корни формирования модели метафизического и ситуационного образа врага. Культурологический анализ ментальности показывает, что первый тип образов характерен в большей степени для западноевропейской ментальности, а второй – для русской¹. При этом нужно оговориться, что и там, и там можно найти обе модели Другого-чужого; речь идет лишь о степени их присутствия в коллективной памяти. Эти типы образов врага проявляются в народном сознании в моменты кризисов, и особенно при этнотерриториальных конфликтах. Сравним специфику глубинных образов Другого-чужого в западноевропейском и русском народном сознании.

Демонизация как способ создания эмоционально сильного образа врага опирается на экзальтацию сознания, имеющую религиозное происхождение. В науку было даже введено понятие «западный страх». Причины «западного страха» европейцев исследователи видят в специфике влияния религиозных элит на сознание еще средневекового европейца. А.Я. Гуревич, исследовавший практику пропо-

¹См.: *Аръес Ф.* Человек перед лицом смерти: предисл. А.Я. Гуревича. М., 1992; *Гуревич А.Я.* Культура и общество средневековой Европы глазами современников. М., 1989; *Хейзинга Й.* Осень Средневековья. М., 1989; *Кара-Мурза С.* Манипуляция сознанием. М., 2001. С. 150–180.

ведей с ярких примерами адских мук, делает вывод: они «воздействовали на психику народных масс в неблагоприятном направлении, порождая напряженность и страхи»¹. Нужно отметить, что не только на психику масс, но и интеллектуалов Запада. Так, образы бесов, мучающих грешников в аду, выведены в «Божественной комедии» Данте (сохранившего теснейшую связь с ортодоксальной католической традицией) настолько ярко и убедительно, что до сих пор способны впечатлять читателя. В Западной Европе начиная с XV в. устрашающие картины бесовщины приобретают в искусстве особую популярность (произведения М. Шонгауэра, И. Босха, М. Грюневальда, Яна Госсарта, Л. Кранаха Старшего, Лукаса Лейденского, П. Веронезе, Х. Голциуса и др.). Если картины рая оставались смутными и не проясненными, то картины ада и народное воображение, и живопись, и литература западноевропейского средневековья рисовали с большой наглядностью. Ад был намного реальнее рая.

Если на Руси черт представлялся смешным (Н.В. Гоголь хорошо выразил эту тенденцию народной традиции), то в Западной Европе бесы, количество которых позднесредневековые «Дьяблерии» насчитывали тысячами, были воплощением абсолютного зла, войска Сатаны. Сатану мыслят как всемогущего соперника Бога, как «князя мира сего». С идеей о постоянном и всестороннем вмешательстве в жизнь человека нечистой силы смыкалось представление о близящемся конце света. Усиление всемогущества дьявола – показатель того, что перед завершением земной истории он выступит в роли Антихриста. Готовясь к финальной, всемирно-исторической драме, он собирает все свое воинство, включающее и людей (!), которые вступили в ним договор. Именно с этим травматическим опытом лицезрения в своей фантазии Сатаны связана чисто западноевропейская практика поиска и уничтожения ведьм и колдунов. Это расценивалось как борьба против Антихриста, доводя людей до глубоких фобий, передающихся по каналам традиции.

Массовые фобии достигли своего пика в XV – XVI вв. Для нашего исследования представляет особый интерес тот факт, что в этот период возникает огромное количество произведений искусства, посвященных теме смерти и козней дьявола. Это были ужасающие картины фантастики страха. В изобразительном искусстве Запада появляются целый жанр *la danse macabre* (пляска смерти). Особый интерес

¹ Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. С. 26.

для этого исследования представляет то, что пляшет не мертвец, а некое «мертвое Я» – неразрывно связанный с живым человеком его мертвый двойник. *Danse macabre* разыгрывались актерами на площадях, собирая толпы горожан и поселян. Этот вид зрелища принял истинно массовый масштаб. В XV в. благодаря книгопечатанию и гравюрам воздействие образов смерти на сознание обывателей усилилось. И. Хейзинга связывал искусство *macabre* с последствиями страхов во время разгрома чумы и жестокостей Столетней войны. «В представление о смерти вторгается новый, поражающий воображение элемент, содрогание, рождающееся в сферах сознания, напуганного жуткими призраками, вызывавшими внезапные приступы липкого, леденящего страха. Всевластная религиозная мысль тут же переносит все это в моральную сферу, сводит к *memento mori*, охотно используя подчиняющую силу страха, основанную на представлениях, окрашенных ужасом перед привидениями»¹. В книге А. Гуревича «Культура и общество средневековой Европы глазами современников» приводится типичный случай: «Никогда я не думал, что Господь столь строг, – сказал некий цистерцианец, явившийся с того света другому монаху. – Он помнит все мелочи»². Страх перед Судьей был так велик и не выносим, что в народе сложился культ Девы Марии, которая, наоборот, представлялась заступницей, снимающей в какой-то степени страх вины. А. Гуревич одну главу книги называет «Религия вины» – это о католицизме и западноевропейской культуре³. Дальнейшее развитие «культуры вины и страха» получила в эпоху Реформации. Ф. Арьес связывает «культуру страха» с Реформацией и такой страх называют «страхом Лютера»⁴.

Восточная ветвь христианства гораздо спокойнее относилась и к смерти, и к демонологии. Сатана в народной культуре никогда не принимал облика князя мира сего (этот сюжет больше характерен для эзотеричной монашеской традиции). На Руси к смерти относились, как к чему-то должному. Сама встреча со смертью представлялось как дело обычное и привычное. Анализ русских народных поговорок, собранных В. Далем, показывает, что смерть и проблема спасения души занимали большое место в мыслях и чувствах людей. К смерти

¹ Хейзинга Й. Осень Средневековья. С. 157.

² Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. С. 156

³ Там же. С. 147–160.

⁴ См.: Арьес Ф. Человек перед лицом смерти.

относятся с юмором. В смерти человек не одинок, он чувствует поддержку близких людей («От смерти не спрячешься», «Тяни лямку – пока не выкопают ямку!») (живи и работай – пока смерть не придет), «Умирать – не лапти ковырять: лег под образа, да выпучил глаза, и дело с концом», «Помрешь, так прощай белый свет и наша деревня», «На миру и смерть красна», «Кабы до нас люди не мерли, и мы бы на тот свет дороги не нашли»).

Анализ культурологического материала, касающегося русского народного сознания, показывает, что особенностью русской культуры является то, что образ врага очень часто носит ситуационный характер. В связи с этим отношением к смерти, а значит, к опасности как таковой, образ врага в народном сознании русских никак не может приобрести ужасающих черт. Ужас (terror) – это понятие западноевропейской античной (terror antiquus) и средневековой традиции, плохо поддающееся переводу на русский язык. А отсутствие развитой рационалистической метафизической философии на Руси является причиной затруднения метафизической интерпретации образа врага (так же как и образ друга) и делает его ситуационным. Другими словами враг и друг – это какие-то вполне конкретные люди, народы. Конечно, интеллектуальные элиты периодически пытались метафизировать эти образы, но у них это довольно плохо получалось; традиционно русский народ не очень доверяет властным и интеллектуальным элитам (за исключением писателей и священнослужителей. Не случайно мы наблюдаем сетования интеллектуалов на то, что русский народ не видит угрозы, исходящей от враждебных коллективов, наций, народов). «Пока гром не грянет, русский мужик не перекрестится». В русском народном сознании образ врага чаще – это образ гада, шакала, а не демонических сил.

Ситуационный образ врага возникает в момент непосредственного зримого удара. Только тогда начинает включаться мобилизационное сознание, как долго спящий медведь из берлоги. Оно включается ускоренно и поэтому для стороннего наблюдателя такая быстрая и мощная по интенсивности мобилизация кажется чудом или природной агрессивностью (и то и другое – это мифы стороннего наблюдателя). Такой тип мобилизации, когда образ Другого-чужого почти мгновенно трансформируются в образ врага, можно назвать *реактивной мобилизацией*. Она может привести к потере преимущества в военном и иных конфликтах. Да, это так. Но обратной стороной реактивной мобилизации, использующей ситуационного врага, является

то, что психотип русского человека включает в себя установку на вытеснение образов зла и врага-зверя из сознания (в данном случае термином «русский» обозначается не славянская этничность, а принадлежность к национальной культуре, языку). Отсюда такая черта национального характера как незлопамятность, короткая память на катастрофы, войны и иные формы зла, несущие смерть. Это специфика памяти порождена восточно-христианским учением о роли забвения и смерти для спасения души. В национальном сознании отзывается утверждение Плотина «Добрая душа забывчива». Смерть попущена Богом («У Бога людей много») и, значит, не является абсолютным метафизическим злом, как, например, в манихейской картине мира или в картине современного атеистического человека, для которого за границей жизни разверзается мрачная бездна. Смерть – это только переход из одного мира в другой.

Понятно, что описанная особенность коллективной психики может приводить как к позитивным, так и к негативным последствиям в жизни коллектива.

Резюмируя можно сказать, что феномен «западного страха» способствовал укоренению в западном сознании образа метафизического врага, который можно дезавуировать с помощью рационализации, на что и была сделана ставка социальной философией Просвещения с ее концепцией толерантности. Однако это же означает и то, что хранящийся в подсознательном западного человека (загнанный туда рациональными рассуждениями) образ метафизического врага может быть извлечен с помощью пропаганды (как, например, в случае мобилизации народных масс фашистами в 30-е годы XX в.) или спонтанно (как в случае массовых истерий в США во время обострения антикоммунистической антироссийской пропаганды).

Ситуационный образ врага возникает в ситуации вызова судьбы, угрозы коллективной (а не индивидуальной) идентичности. Когда возникает такая угроза идентичности? При территориальном конфликте, когда угроза принимает не метафизический, а наглядно физический характер, например при вторжении на территорию малой родины или отечества.

Территориальный конфликт и территориальный спор

Враждебность в человеческом обществе лишь отчасти опирается на общебиологические механизмы, в основном же распознавание «своего» и «чужого» происходит через соотнесение с символами «родственник» и «не родственник» или «у-род». Каков критерий, от-

деляющий родственника как Другого-своего от уroda как Другого-чужого? Критерием своего, родственника является соотнесенность объекта с понятием «наш мир», «наше пространство», т.е. общее место жизни (ср.: «со-в-местная жизнь»). Например, жена, которую берут из другого рода, не является кровной родственницей мужа и его рода, но она становится родственницей (не в современном смысле слова) потому, что брак вписывает ее в пространство деревни. Именно жизненное пространство делает родственников родственниками. Физическое и социальное пространства взаимопроникают друг в друга. Социальное пространство изначально было процессуальным: оно конституировалось в ритуальном действии, внутри живого звучащего тела рода, в коллективе поющих и танцующих людей. «Социальное пространство – это не сколько-нибудь устойчивое состояние, а огромный комплекс ни на мгновение не останавливающихся процессов, понимаемых как поток событий¹. При кочевом образе жизни, который вели первобытные племена, социальное пространство было слабо связано с геофизическим пространством. Речь, звучащая в ритуальном действии, сообщала ему качество «своего», освоенного мира.

Такие концепты как «наше местопребывание», «наш мир», «мы», могут появиться только по комплиментарному признаку, отражаясь от понятия «они», «не мы». Б.Ф. Поршневым даже была высказана гипотеза, что понятие «они» возникает прежде понятия «мы». «В тот миг, когда первобытный человек отделил себя от представителей иного племени как от «чужих» и «непонятных», он стал воспринимать сородичей как «своих», как «друзей» и впервые осознал себя частью могущественного целого – «мы», способного защитить его от «врагов»².

Идентичность человека родовой культуры теснейшим образом связана с языком рода. На этом этапе истории чуждость Другого связывается не с принадлежностью к территории как пространству чужой страны, чужого мира-космоса, а другим языком, вернее с отсутствием понятного языка. Другой-чужой распознается как немой враг. Говорящие на другом языке – немые (немцы) и потому чужие. Представители этих культур чуждость осознают как принадлежностью к чужому миру-языку, вернее даже будет сказать, что чужой мир-язык – это не мир (хаос) и не язык (немота и глухота). В этом смысле интересен случай т.н. «ослушников», членов рода, которые нарушают ритуальные установления. Становясь ослушниками, они переходят в разряд у-родов, выпав-

¹ Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996. С. 26.

² Савельев А. Образ врага. Расология и политическая антропология.

ших из родового языка. Это выпадение из языка не сопровождается немотой в прямом медицинском смысле, это социальная немота, возникающая вследствие непослушания, результата постигшей их по причине одержимости злыми духами глухоты, неспособности слышать голос Первопредка, от которого исходят нормативные импульсы, упорядочивающие мир, создающие в море хаоса островок «нашего, т.е. мирного пространства». В глазах первобытного общества ослушники – это именно у-роды, но не преступники. Понятие «преступник» еще не появилось; пространственная метафора «преступать» (преступать границы) связана с переходом к оседлости, к государственному строительству и изобретению «территории».

Слово территория (от лат. *territorium* – область, территория, земля вокруг города) происходит от берущего истоки из праиндоевропейского языка слова *terra* – «почва, земля». Территория появляется, когда в результате неолитической революции кочевые общества переходят к земледелию и государственной организации. Это ставит перед властной элитой задачу объединения племен и блокирования закона кровной мести. Территория – результат собирания земель племен и языкового закрепления ценности единства разнообразных оседлых родовых культур. Собираение начинается с завоевания или договора о взаимопомощи, а завершается реформой языка, в котором понятие «кровный родственник» заменяется понятием «подданный государя», понятие «земля для кочевки» – понятием «территория государства». Территория – символ составления общего социо-геополитического пространства из отдельных локусов: троп для кочевков и земель, занимаемых родовыми стойбищами. Территория – это локус геофизического пространства, отграниченный от остального пространства особым образом. Это отграничение опирается на символические и материально-функциональные средства конституирования «своего мира». Территория образуется как привязка земли (*terra*) к привилегированной реперной точке – столице государства, осуществляющего власть над этими собранными землями. Поэтому базовыми признаками территории являются центр земель и граница, образующая т.н. «круг земель государства» и государственный правопорядок, средство контроля территории.

Право первоначально видимо выступает как средство закрепления конфигурации единого ансамбля земель родов и как средство регулирования территориально-политических отношений родовых элит и столичной элиты во главе с императором. Право нужно прежде все-

го для внутригосударственного культурно-идеологического строительства, формирования новой системы образов коллективной памяти. Теперь в нее должен быть помещен образ Других-своих не как родственников, а как соотечественников, подданных единого властного центра, общего отца отцов родов («отца народов»). В соответствии с этим модифицируется и образ Другого-чужого: теперь чужой – это потенциальный или актуальный враг государства и территории. Это – враг народов территории.

Народ же долгое время представляет собой неустойчивый конгломерат родов; и только появление в Западной Европе политического концепта нация в XVIII – XIX вв. и национализма стало причиной превращения в конце XIX – начале XX в. конгломерата народов в некий народный монолит¹. Так как этот конгломерат, особенно в первых империях, все время грозит распасться, то образ врага нужен как психологическое средство сплочения. Обратной стороной этого средства является международный конфликт, который может быть очень опасен для целостности из-за слабой предсказуемости последствий. Поэтому могут быть выработаны стратегии минимизации рисков использования образа врага, например за счет использования его только во внутривластных целях. Это делается либо посредством т.н. «двойных стандартов» (когда для населения государства рисуется образ врага, но на международной арене государства открещиваются от него), либо когда конструируется т.н. «внутренний враг» (предатели, ослушники, бунтовщики и т.п. концепты). Образ внутреннего врага гораздо менее опасен в международном отношении. Однако для функционирования в качестве солидаризирующего фактора он требует больших риторических ухищрений по его демонизации.

Здесь нужно отметить, что история показывает: стратегия поиска и демонизации внутреннего врага использовалась не только как инструмент властного центра, но и как инструмент оппозиционных центральной власти сил. В этом случае на роль внутреннего врага выдвигался сам властный центр. Структурно стратегия борьбы за власть центральной власти и маргиналов – одна и та же; она преследует своей целью сплочение, только в случае государственной власти цель сплочения территориального коллектива масштабнее.

Территориальный конфликт – это борьба за влияние на определенной территории, и прежде всего, за символический контроль этой

¹ В этом отношении показательно философское приключение категории немецкой классической философии «дух нации».

территории. В связи с этой высказанной идеей о символическом аспекте действий по занятию территории я бы хотел сделать важное для конфликтологии концептуальное различие понятий «территориальный конфликт» и «территориальный спор». Территориальный спор – это частный случай территориального конфликта, юридический режим функционирования этого феномена. Спор предполагает более или менее аргументированную риторику, в идеале – юридизированные речи сторон конфликта. Следовательно, территориальный спор может возникнуть только на стадии выхода субъектов конфликта в публичное пространство. В этом смысле не может быть имплицитного, никем и никогда не артикулированного территориального спора.

Вместе с тем территориальный конфликт как более широкое понятие включает в свое содержание термин «скрытый, или потенциальный, конфликт». Скрывается такой территориальный конфликт как в материальных (экономических, геополитических) условиях существования территориально-политических объединений людей, так и в их мировоззрении, коллективной памяти, языке описания миропорядка. Две этих плоскости – объективно-материальная и символически-ментальная – пересекаются и взаимопроникают друг в друга в феномене национальной и/или этнической идентичности. Поэтому разрешение конфликта предполагает нахождение прежде всего объяснительной риторической модели сути конфликта и его путей разрешения, одинаково убедительной для всех акторов конфликтной ситуации. Причем если на разных фазах конфликта могут меняться средства для его снятия, то одно средство универсально для все фаз и стадий – это речь, артикуляция не только позиций сторон, но и результатов рефлексии чужой позиции (проверка понимания друг друга). Речь идет о потенциале диалогического способа коммуникации.

Проекты урегулирования территориальных конфликтов должны опираться на анализ символического и эмоционального измерения территориальной привязанности народов. «Прежде чем может иметь место торг на уровне материальных, конкретных измерений переговорного процесса, необходимо обратиться к характеристикам игры с нулевой суммой»¹. С этим суждением Ньюмана нельзя не согласиться. Следует добавить, что игра с нулевой суммой – это диалог конфликтующих сторон о единстве и разделенности в целях поиска гармонизации этих двух начал. Единство и разделенность – это символы,

¹ Territoriality and Conflict in an Era of Globalization: ed. by Miles Kahler and Barbara F. Walter. New York: Cambridge University Press, 2006. P. 100.

и собеседники должны отдавать себе в этом отчет и открыто признавать идеологическую составляющую своих материальных интересов. Любая политическая стратегия сегодня, даже стратегия в стиле *Realpolitik*, – это игра с символами посредством символов.

2.3. Традиционный и «нетрадиционный» ислам в Волго-Уральском регионе: полемика и аргументация в современном религиозном дискурсе (Л.И. Алмазова)

Если в 90-е гг. XX в., когда религиозные институты и религия в целом только начали свое возрождение на руинах атеизма эпохи СССР, людям казалось, что возвращается некий общий для всех мусульман ислам, то в начале второго десятилетия XXI в. в каждом из мусульманских регионов бывшего Союза достаточно четко выкристаллизовались силы, выступающие за то или иное видение того, как они представляют себе «истинный ислам». При этом, научный интерес представляют процесс того, как разные мусульманские республики формируют свои наборы исламских толков и направлений, и что именно включается в одноименные понятия в разных ареалах распространения ислама.

Дело в том, что зачастую в научной литературе и популярных изданиях используются термины салафизм, суфизм, традиционализм, модернизм и т.д. Однако, как пишет А. Кныш: «Подобные дискурсы имеют тенденцию истолковываться как воплощенный и ясно определяемый объект, каким-то образом независимый от тех обществ и культур, в которых он функционирует. Однако как только этот теоретический конструкт оставляет узкие ограничения теологического или академического дискурса и вступает в сферу публичного достояния, он обретает свою собственную жизнь и начинает облачаться в те формы, которыми простые люди думают и говорят о различных используемых ими религиозных верованиях и практиках»¹. В силу этой особенности данная работа (которая наряду с анализом местной мусульманской публицистики за последние годы включала в себя также и полевые исследования в Казани, Набережных Челнах, Уфе, Нижнем Новгороде) основана на интервью с лидерами различных мусульман-

¹ *Knysh Alexander*. Contextualizing the Salafi/Sufi conflict (from Northern Caucasus to Hadramawt) // *Middle Eastern Studies*. 2007. Vol. 43, №. 4, july. P. 527.